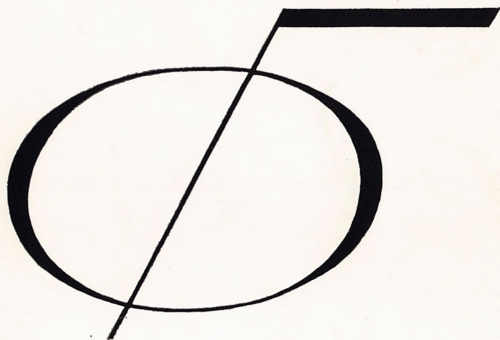


**БОРИС ФИЛИППОВ**



**МИМОХОДОМ** *1970*

*Борис Филиппов*



**БОРИС ФИЛИППОВ**

# **МИМОХОДОМ**

**Рассказы**

**Легенды**

**Стихи**

**Вашингтон, 1970.**

*Рисунок обложки работы художника  
Николая Сафонова*

Copyright © 1970 by author

Printer: I. Baschkirzew Buchdruckerei,  
8 München 50, Peter-Müller-Str. 43.

Printed in Germany

*Лесному Зверю*

Серый, седенький, дождит,  
зелень, как воробушки . . .  
Ну, куда ты, погоди, —  
спой: «полна коробушка» . . .

Песней полон влажный рот,  
счастьем — «Коробейники» —  
и любовью. Ну, так вот,  
вот твои затейники.

Солнца выжди. Погоди,  
лучше поцелуемся.  
Серый, седенький, дождит,  
неприятна улица.

1962.

# СКВОЗНЯКИ

На четвереньках шел трезвон  
и оборачивался медным  
гуденьем пчел под небом бледным,  
над строем изб понурым, бледным  
забытых Господом сторон.

И над смиренным озерком,  
качая звон двуперстых далей,  
покрытых девичьим платком —  
и ничего-то здесь не жаль ей, —  
творит по лёстовке поклон.

И всё тут есть — и ничего:  
лишь даль отверженной равнины,  
речушек зябнущих низины,  
трезвон невнятный про Него...





## ИДИЛЛИЯ

Городишка — южный, но ни одного кустика не было на его улицах. Только в пыльном и запыленном подсолнухами «Саду культуры и отдыха» стояли чахлые деревца, заключенные в выкрашенные ядовитой зеленой краской загородки, сквозь которые изредка застенчиво просовывались рахитичные веточки с изъеденными червями и гусеницами листьями.

Зато уж чем-чем мог похвастаться этот городишка, так это парикмахерскими. На насмерть забитом солнцем базаре каждая вторая лавка, каждая вторая палатка были парикмахерскими. Казалось, что по крайней мере половина жителей городка была брадобреями. Чем жили эти бидолаги? Одни со скучающим видом подпирали наличники дверей своих заведений, другие дремали над газетой «Клич Мировой Коммуны», а большая часть, забыв обо всем на свете, забивала козла, шваркая облезлыми плиточками домино с таким остервенением, что игру свободно можно было бы принять за генеральную репетицию к кровной мести.

Редкие торговки семечками и бубликами, помидорами и огурцами отличались зато завид-

ной толщиной. Они лениво переругивались с единственным представителем мужского торгового класса — тощим седым армянином, привезшим на запаленной лошади какие-то куски посиневшего мяса с надписями химическим карандашом на воткнутых в мясо просаленных дощечках: «баранына» и «гавядна». Половина небрадобрейских лавчонок пустовала, а в действующих продавали водку, ароматический желудевый кофе «Ленинский Эльбрус» и сапожный крем «Навсегда».

Рядом с входом в ветхую двухэтажную гостиницу «Гранд Отель», по-местному «Гранд-отель», расположился фотограф, расставивший ширмы с пышной черно-серо-белой декорацией: бравый всадник на лихом коне, вставшем на дыбы, в черкеске и папахе, с обнаженной шашкой в руке, на фоне удручающей высоты Кавказских гор. Вместо лица у всадника была обтрепанная по краям дыра, в которую клиенты покорно всовывали свою голову. Фотограф, накрывшись черной попоной, возился, согнувшись, у допотопной треноги, а в дыре всадниковой верхней конечности глупо крутилась чья-то курносая и веснучатая, типично российская голова.

— Ша, товарищ, ну, сколько вас уговаривать! Если вы будете так круговращаться, я спорчу еще целую уйму дефицитного материалу.

— Да ты гони его, Григорий Мосеич, — ведь парень — сразу видать, — несамостоятельный, малохольный, с него разживы грош, а в сердце

нож, — лениво сплевывая подсолнухи басовито и медлительно процедил ближний бровей.

У «фотоателье» остановился низенький казак с высоченной дородной женой. Парень-непоседа вылез, наконец, из-за лошади и Эльбруса.

— Сняться, что ли, Феня?

— И то.

Казак залез за Эльбрус, всунул в дырку голову, окончательно обесмыслив и остановив глаза, а перед вздыбленным конем установил жену, приказав ей вставить левую ручищу в дыру: «быдто рука на мужнем плече». По полотняным облакам, горам и лошади заходили могучие волны.

— Спокойно. Одну небольшую секундочку. Смотрите на мене. Вот сюда. Ну! Еще секундочку — для лучшей выдержки. Готово. Мерси вам.

Нет никой нэп не оживил это сонное царство!

— Вам в «Грандотель»? — спросил меня фотограф. — Подождите самую маленькую секундочку. Управляющий ушел, и я его заменяю. Вот сниму только мадам и товарища командира, — и покажу вам свободный номер. На выбор.

Черт дернул меня приехать в этот первозданный рай с лекцией «о новейших течениях в русской поэзии». Меня командировал Губполитпросвет, лекторское бюро которого возглавлял восторженный студент-коммунист, вечно обуреваемый идеей продвижения искусства и науки в массы.

— Ну, вот. Теперь я свободен. Сарра, поде-  
журь в ателье. Одну минуточку.

Одна из торговок бубликами нехотя подня-  
лась, прихватив и свою табуретку, и корзину с  
товаром, и заколыхалась к коню и Эльбрусу.

По скрипучей, расщелившейся лестнице мы  
поднялись во второй этаж.

— Вот вам первоклассный номер. Клопов  
почти нет. Тараканы? Так они, товарищ, к сча-  
стью. Верная примета. Окно не закрывается?  
Так сейчас лето же, лето. И даже лучше: вете-  
рок будет, вентиляция. Не нравится? У нас, ко-  
нечно, не Париж и не Одесса, но . . .

И тут мы оба провалились прямо в незаня-  
тый номер первого этажа, а на нас посыпались  
гнилые щепки перекрытия, куски штукатурки,  
мусор. Упали мы, к счастью, на соломенные  
матрацы коек.

— А что я вам говорил? — отряхиваясь, как  
пудель после купанья, продолжал Григорий  
Моисеевич. — Видите? У нас все предусмотре-  
но: даже при катастрофе ничего не может слу-  
читься: у нас солома меняется каждый ме-  
сяц . . .

На мою лекцию в летнем досчатом театре  
Сада культуры и отдыха явилась вся местная  
интеллигенция: аптекарь, пять или шесть бра-  
добреев и военком Варейкис. Я комкал лекцию,  
как только мог, но ничего не отражалось на ка-  
менных лицах моих слушателей.

— Нет ли вопросов?

— А скажите, товарищ лектор, где больше клопов — у нас или в империалистических странах?

— Правда ли, что на Западе стригут уже не ножницами, а при помощи электричества?

И только военком Варейкис, подозрительно уставившись на меня, спросил: — И чего это вы, гражданин, рассказываете все про стишки, да еще буржуазно-интеллигентские. Вы бы нам лучше о текущем моменте . . .

Аптекарь же не говорил ничего.

1970.

## МОТИВ ИЗ «БАЯДЕРКИ»

— Эй, вы там, огоньки, а ну-ка, очистите место для моего кореша. Живо! Скучно мне с ними. Хочется ведь культурного разговору. А вам ли лежать возле параша, когда здесь, у окна, всякая шпана. Ну, вот, располагайтесь. Как вас зовут? Николай Иваныч? Меня-то . . . Меня-то — по-разному: слыхали ведь и сами — на поверке: Шультикашвили-Газарьян-Сидоренко-Павлов . . . Да разве это все мои имена и клички?! Всех, сказать по-правде, я и сам не упомяну. Мне-то ведь шестьдесят лет. Зовите, скажем, Иван Абрамыч.

У вас шпанка уперла продуктовую передачу с дому? Ну, это дело поправимое. Эй, ширмачи! Тащите назад моему корешу его сидор. И чтобы его никогда не смели курочить. Сожрали уже его конфеты? Вы их простите, Николай Иваныч. Ведь шпана — что твои ребята, очень к сладкому равнодушны. Остальное цело? Ну, и хорошо.

Вас удивляет, что меня так слушаются? Так ведь я — пахан, да еще какой! Мне вот шестьдесят, а у меня сорокапятилетний производственный, так сказать, стаж. И все больше по

банкам и подлогам. Как ушел с пятого класса гимназии, так и пошло, и пошло. Нет, учился хорошо. Я ведь из интеллигентной семьи: отец — хирург, мать — пианистка. Музыку и я люблю до самозабвения. А вот с отрочества потянуло на эдакую житуху. И ведь потом много читал, не раз побывал в Европе, учился всяческому — больше, правда, для основной своей специальности. Ведь чтобы очистить в царские времена банк — нужно было обычно устроиться туда на работу: кассиром, бухгалтером, скажем. А потому — диплом с бухгалтерских курсов, — это как минимум. Четыре языка знаю. Конечно, говорю с акцентом, но свободно.

Понятно, в тюрьмах посидел изрядно. Отсюда и то, что частенько не только имя, но и шкуру менять приходилось. Но долго в тюрьмах такие, как я, не засиживаются: чуть на этап, так уже на первой или второй ночевке подаем-ся до зеленого прокурора — в лес, то есть. Ведь и конвой на нас смотрит сквозь пальцы: у таких, как мы, дружков на воле хоть отбавляй, — и конвоиры и тюремное начальство нас побаиваются, даже рады, когда избавятся от нашего брата. Ну, конечно, бывает им от нас и материальная польза: не подмажешь — не поедешь, как говорится.

Эта пересыльная еще хорошая, столичная. Всего девяносто, к примеру, гавриков в нашей камере — на ее двадцать две койки. А поглядели бы в провинции! Я-то нагляделся... Ведь меня и к вышке приговаривали, да не здесь, а



на Кавказе, — вот там можно узнать — почему фунт лиха . . .

Да. Это было дело нелегкое. Знаете, был я молодым совсем, а уже известным — по банкам орудовал не только у нас, на юге России, а и в Бухаресте, и в Адрианополе. А тут революция. Будто праздник какой. У всех красные банты, март месяц, а все обнимаются как на Пасху, оркестры впереди шествий, красные знамена, «Вставай, подымайся», на каждом углу митинги. Увлекло, захватило и меня. Решил я завязать. Ну, решил порвать с блатным миром. Даже в партию вступил. Конечно, в большевицкую. Коль идти в революцию, то до самого конца, в самый «наш последний, решительный бой». В гражданку брал Ростов, дошел до командира полка, гнал белополяков.

В двадцатых годах направила меня партия в погранвойска. Комсоставу, надо сказать, была там жизнь, что надо. Тепло и не дует. На советско-турецкой границе нужно было только на плечах иметь голову, а не дырявый казанок, чтобы жить прямо на старорежимный масштаб. Доход и от турков-контрабандистов, и от наших советских — и контрабандистов, и нэпачей: только орудуй поосторожнее и знай — кому и сколько нужно из начальства в лапу. А начальство, особенно в те годы, и особенно в Закавказьи, — тоже умело и любило жить в свое удовольствие.

Ходил я тогда щеголем, особенно, как наезжал с границы в город. Отчасти по форме, отчасти — на кавказский манер. И хотя, как ви-

дите, ростом я не вышел, но был тогда стройным, подтянутым. Да и много интеллигентнее местного начальства — советского и партийного. У баб потому успех имел большой. А тут еще всегда мог и заграничные подарочки им делать.

И была в том городе оперетта. Для провинции очень даже недурная. Даже в оркестре было всегда не меньше десяти-одиннадцати музыкантов. По столичным масштабам не судите: в провинции для оперетты это — могучий оркестр. А уж примадонна была — и безо всякой скидки на захолустье — превосходная: и голосок хоть куда, и танцевала легко, и кокетлива, а уж сложена, а глазищи — ну, словами не опишешь . . .

Тут уж я не в порядке краткосрочного флирта, а врезался на совесть. Вскоре даже зарегистрировались, стали жить как муж и жена — на законном основании. Ну, тут, конечно, меня и закрутило. Жил один — одни потребности. Там, для подарочков бабам, много ли было нужно? Какие-никакие там заграничные лифчики, помада губная, духи, конфет коробка. А Офелия — так жену по сцене звали: Офелия де-Бинелли ( в жизни Елена Петровна Дубинина); — Офелия-то изголодалась по хорошей жизни. Вот и пришлось мне рвать жизнь в куски. И ведь чем больше гребешь с клиентуры — контрабандистов и нэпачей, значит, — тем больше и начальству совать в лапу, и тем больше с бойцами-пограничниками своими делиться надо. А превысить сильно активность

контрабандистов на своем участке границы — тоже опасность немалая: другие гепеушники могут из зависти накапать — и загребут тебя, как цуцика.

А Офелии, конечно, это все до лампочки, ни к чему. Родилась она в дворянской семье, да что толку: отец был мелким чинушей, рано загнулся, еще до империалистической войны, а мать поместили, из жалости, в старческий дом, по-старому, дом призрения неимущих дворянских вдов. Так и выросла Офелия. И всё с дрожью в голосе вспоминала, бывало, как до обеда и после обеда в маленьком квадратном дворике богадельни старухи, все в черном, попарно или вразнотычку, кружили вокруг прогнившей беседки и куста захирелой сирени, — и шипели друг на дружку, как дикие кошки. И запах в доме призрения всё вспоминала — особый стойкий и крепкий старушиный настой.

Ну, ясно, после такого детства и юности, потянуло в жизнь. Голосок обнаружился. Фигурка стала завлекательной. Встретилась как-то на благотворительном концерте с маэстро Рикардо Гурины, попросту с Рувимом Исаичем Гуревичем, дирижером передвижной музыкальной комедии, — он и заманил ее в свою оперетту, вопреки даже своей жене, каскадной певице, грозившей перервать мужу горло и устроить в опереточном коллективе гармидер за такие неподозволенные шашни. Было это уже в двадцать-втором или двадцать третьем году. А там — легкие победы над нашим братом, — но так-то — разве что подарочки: одеколон или туфельки.

В остальном — нищета непроглядная. На сцене «О баядера», а в комнате — пшёнка со шматком старого сала и старая шинелишка одного из хахалей заместо одеяла.

Сегодня — ладно, завтра — как-нибудь, а затем вижу — начал зарываться. А тут еще мой начальничек ГПУ стал на Офелию свои бараньи глазенаны запускать. И притом он — не только большое по тому городу начальство, но и сам по себе парень, что надо. Стройный такой грузó, талия стрекозиная, в классной черкеске с серебряными газырями, сапожки шевровые, а то и ноговицы, тонкий пояс-ремешок с набором серебряных бляшек, кроме маузера — старинный кинжал на поясе. Прямо — герой из оперы «Демон».

Приезжаю как-то с границы, а Офелии нет как нет. У меня на душе все кверху лапами — хоть стреляйся. Является наконец. Вполпьяна — и чужим табаком попахивает. Я даже и спрашивать не стал: все мне ясно, как вишенка на блюдечке. Ну, думаю, тебя-то я сейчас не трону. Ты еще зеленая. И не время. Но Николадзе, стервецу, не спуцу его кобеляж.

Долго я их выслеживал. Но уследил: поехали, они, значит, в горы — а там, в одном из селений, кунак у Николадзе был: там решились они с Офелией переспать всласть. Ну, машинка-то, автомобилишко, у Николадзе, что твой самовар был: больше пыхтит и тарахтит, чем везет. На большом расстоянии услышишь его. Спрятался я на одном повороте горной дороги, затаился за скалой, и как подкатила машина к

тому месту, — сразу уложил на месте и Николадзе, и Офелию, и шофера. Его-то, чтобы дело было шито-крыто: скажем, чтобы подумали, что это дело контрабандистов, что ли. А так я против этого парня, шофера, не имел ничего. Первого, понятно, пришел Николадзе. А Офелия как вскинется, как вскинется, — ну, как куропатка. До сих пор забыть не могу. Сам, понятно, сразу к себе на границу, как ни в чем ни бывало. Да только, оказывается, вышла большая промашка: шофера, значит, убил-то убил, да не совсем: очнулся он, как наехали гепеушники, успел показать на меня, и только после этого дал дуба. И как это я не догадался тогда для безопасности их еще раз пришить — сам не понимаю. Должно быть, слишком тяжело было мне на Офелию еще раз посмотреть. Бывает, знаете ли, такое состояние, когда всего не учтешь.

Арестовали меня через день. Как меня били, как терзали — не хочу и вспоминать. И дали вышку. Потом, по апелляции, заменили катушкой: полная десятка. Но я, ясно, не стал свою десятку отсидивать. Не таковский. Через год уже снова промышлял. Но уже конец пришел моей честной работе. Опять стал, понятно, блатным.

Но вот, понимаете, Николай Иваныч, много я на свете на своем веку повидал разного, много и баб знавал, много и крови, по правде говоря, пролил. Но никак не могу забыть Офелию. С тех пор, как не в тюрьме, как на воле, — и в дра-

му хожу, и в оперу, — но только в оперетту ни ногой.

Вот услышал я, насвистывали вы из «Баядерки». И так мне захотелось все это вам рассказать . . .

Эй, вы, шпана! потише там! Чтобы слышно было, как муха летит! Нам с корешом чтобы без беспокойства.

1970.

## ИЗ РАССКАЗОВ Т. ОСАДЧУКА, ПЕРСОНАЛЬНОГО ПЕНСИОНЕРА

### 1.

— Видишь, я сам уже седой, а то было́ еще, когда дядёк мой в летах не больно старых буфет на станции содержал. Только он не был эксплуататором, нетрудовым элементом — все совершал самолично с женой и сыном — чуть косым, но несмотря на это толковым. Станция-ка-то наша не из больших, но пересадочная: поезда даже курьерские минут на десять останавливались, а по военному обстоятельству — накануне февральской буржуазной революции самой — и все полчаса простаивали. Буфет же славился пирожками печеными и настойками: дядёк сам их вырабатывал: выпьешь одну стопку, — к другой сама рука тянется, а после третьей — закачаешься и на душе чистый рай. Дядёк как производит настойки, нанюхается, — так и пить ему нет надобности: с одного духу пьян. А помогал ему настойки и наливки производить монах Сапрон, с монастыря по соседству. Ну, и детина был! В плечах — косая са-

жень, ручищи чуть не ниже колен, нос щербатый, глазищи страшные — будто и не служитель культа, а убивец. А так, хоть и монах, стало быть, дурман для трудящихся, а добряк сам по себе, ничего не скажешь. А уж бабы нашего поселка все его святым и чудотвором почитали: народ-то темный был при буржуазии и помещиках. Ну, и всяк раз, как хвороба прикинется — у самих ли, у скотины ли — так и идут не к фершалу нашему, по-нынешнему к лекпому, а непосредственно к Сапрону. Фершал, лекпом, значит, дюже обижался. А как он, лекпом, из ученой интеллигентской прослойки, то, понятно, неверующий, и, конечно, зубы скалил: такого детины, мол, как Сапрон, не только хвороба, а сама смерть снужается — очень просто: завидит таку громадину — и наутёк.

Но это все ни к чему. А вот что главное, с Сапронем тем было. В буфете железнодорожном, ясно и определенно, посты и при царизме не соблюдались: всякий ведь люд по дороге ездит, — вот и держали про всякого потребителя. А Сапрон-то в те дни, что настойки вырабатывались, не только назаду буфета, так сказать, в производственном помещении, но и в самом буфете — за стойкой — бывал когда как. И видит: сидит за столиком в зале для принятия пищи батюшка какой-то проезжий, солидный такой, не обнаковенный служитель культа, а в золотых очках и при портфеле. И заказывает он — это в среду-то на первой неделе поста! — свиные отбивные и водчонки графинчик, в иголочку замороженный. Добро бы чиновник там,



прапорщик или дама, а то — иерей! Тогда то было прямо вразрез генеральной линии старого режима. Вот и подали тому попу в золотых очках отбивные. А Сапрон увидел, побледнел весь, сказать — не сказал ни полсловечка, а только молитву пробасил в усищи, бороду одной рукой оглаживает, а другою на свининку батюшковую указывает. И вот — думай, что хочешь: тогда говорили: чудо. Думаю, по-научному, скорее гип-нос. Только перед служителем культа там на тарелке не отбивные, а щука с картохой на постном масле. Вот оно как. Выпятился тут, поп тот, значит, а потом сообразил, весь затрясся, перекрестился мелким крестом, и даже к щуке не прикоснулся: в вагон свой быстро-быстро побежал: проняло, значит.

Было и совсем напротив того. Часовщик тут был у нас — рядом прямо со станцией. Исай Ароньч. Частник, еврей, но хоть и еврей, а человек очень даже хороший. Вставит, бывало, в один глаз малюську-трубочку черненькую, увеличительного характера, другой глаз призажмурит, а сам струментом мелким нутро любых часов переберет, переберет — и всякие буквально исправлял на совесть. И вот: частник, а даже почти бы и революционер: журнал такой — «Ниву» — выписывал с приложением произведений родоначальника соцреализма Алексея Максимовича товарища Горького. Любили Исай Ароневича все, только многие трудящие страдали: ну, почему — еврей?! Креститься бы ему — совсем душа-человек бы стал. Ведь даже водку пил по-русскому. Тогда

ведь многие еще, даже с пролетариату, верили в дурман для народа — в церкву. А вот свининки-то наш Ароньч ни-ни. Ни в какую.

Зашел он тоже раз один в буфет дядькин. Как раз был тогда там и Сапрон. А Исай Ароньч ехал куда-то, очевидно, по производственной причине. Я того толком не знаю: сопливым был еще тогда, под стол пешком ходил. Вот и заказывает Исай Ароньч, значит, щуку фаршированную и водочки шафранной. Подали ему. Только воткнул в щуку вилку, ко рту своему поднес, а на вилке — поверить трудно! — кусок свининки... Что за чудо! А тут к Исаю-то Сапрон:

— Исай Ароньч, — говорит так ласково, — милый вы человек, все одно уж оскоромились против своего закону. Теперь один выход — креститесь...

Сам улыбается, аж пузо и борода трясутся от удовлетворения: ведь это он, Сапрон, тоже произвел. Или там — гип-нос. Или — переход материальной энергии в другую форму по диалектике. Пусть уж ученые разбираются — что к чему и почему.

А только, действительно, Исай Ароньч видит — делать уже нечего. Потому свининка-то уже на зуб попала так или иначе. Вот и крестился.

Оно, если рассматривать не диалектически, то, понятно, дурман или, как у Маркса, опиум. Но ведь по тогдашней линии все-таки и другое: тесное включение своей личности в героический русский народ, колыбель мировой ре-

волюции. Это тоже дело нужное в последующих советских текущих годах.

Отцом же крестным, ясно и определенно, был мой дядёк, как у него все это произошло: Никашин, Иван Артемыч.

## 2.

— Как я член партии не с ленинского набора, а аж с двадцатого году, то меня использовали на руководящей партийной и советской работе. Ну, и выступать, понятно, приходилось. И не раз, скажем, в году, а по́части, во все праздники Первомая, Октября, по другим также случаям. И вот тут приходилось не раз и не два сталкиваться со злобной змеиной тактикой затаившейся контры — осколков нашей буржуазной интеллигенции.

Как сейчас помню один случай. За работой, конечно, за общественной нагрузкой и марксистско-ленинской учебой мне, понятно, часто недосужно было уследить завсегда в точности и в ажуре за нашей текущей советской печатью. Этим и пользовались, гады ползучие.

Припоздал раз я на собрание. Только слышу: «Гитлер . . . Гитлер . . .» Ну, а я, сказать по правде, чудок выпимши был: чествовали ударников производства в пригородном хозяйстве нашего предприятия. Где б моему референту из бывших — даже личному, понимаешь, *личному* дворянину в прошлом, — меня упредить — что́,

мол, и как. Так нет же! Не упредил, кусок троцкиста!

Вот я, после аплодисментов, после «все встают», как обычно, и выступил с речúгой. Только было начал: «Мы, мол-де, Гитлера этого, гада фашистского, в клочья порвем — со всем его империалистическим охвостьем» . . . — а меня из-за стола за штаны — хватать! — и тянут, что есть силы, в соседнее помещение.

«Ты, Осадчук, что это, — и пальцем около носу туда и сюда, чуть в глаза не тычут, и матерком, и матерком: — Ты что, сволóта, ошалел? Газет не читал?! Ведь собрание у нас в ознаменование пакта, оно против англо-американского и французского империализма. А трудовые массы Германии и германский вождь прислали к нам ихнего Рибентропа. И вот они с товарищем Молотовым и подписали договор . . . И сам наш любимейший вождь народов и . . . А ты, гад . . .»

А референт мой, шкура, тут же вертится и прямо изгаляется . . . Хотел было ему дать по портрету, да смякитил: не время. Нужно в таких случáях, когда, хотя и нехотя, но уклонился от генеральной линии партии, отойти пóтиху в сторонку, авось мимо пройдет. По принципy: три к носу, все пройдет . . .

Ну, тут — недалеко время — всё и обнаружилось, что я с марксистко-ленинским чутьем и подходом — но не вполне вовремя — предвидел: таки напал на нас Гитлер со сворою. Но то было вполне после. А тогда — схватил строгий с предупреждением.

— Вот нет у молодежи нашей нашего, старшего поколения, чутья. Выработывалось-то оно в процессе классовой борьбы и марксистско-ленинским воспитанием и вытекающей отсюда в прямой закономерности диалектического принципа противоположности — бдительности. И как при этом воспитании чутья анализа легко было разобраться: что к чему. Вот, скажем, хотя бы в актуальном вопросе: где, видишь ли, пролетарский международный интернационализм, а где — мелкобуржуазный национализм и космополитизм с безродно-космополитическим и империалистическим сионизмом.

А тут приходит ко мне внук: сам давно ли титьку материну сосал, а туда же, учит, орет, как оглашенный: мы-де, молодежь то есть, против сталинизма . . .

А я к нему: «А где-то ты это о сталинизме прочитал? Кто из наших вождей партии и правительства такое говорили? — Я сейчас, как у меня, как стал персональным пенсионером, время стало много, — все основные советские прессы читаю. — В какой, — спрашиваю внука, — ты нашей советской прессе, дурной молокосос, о Сталине и сталинизме читал?!»

Ну, понятно, напутали тут и намудрили те, что постарше. С чего-то им, видите ли, чего-то *пересматривать* надумалось. А ведь и без этого пересмотру не так легко, если по совести сказать, было и нам, старикам, иной раз разобраться. Вот, помню, раз меня прямо-таки взбóрвало.

Перевели меня тогда, значит, с высоко-ответственной работы директора колбасного завода имени товарища Тельмана в директора театра областной оперетты имени Клары Цеткин. Ну, обидно, конечно. А на колбасный, значит, за место меня, — будущего безродного космополита гражданина Гинзбурга. Меня и заело: почему это, спрашиваю. У меня партстаж с двадцатого, а у Гинзбурга всего с тридцать девятого. За что это?! А мне говорят в горкоме: «Вы, дорогой товарищ Осадчук, без адекватной в общем и целом специальности, а Гинзбург окончил, видите ли, институт пищевой промышленности» . . . А я к им : «Ну, ладно, допустим. Хай он специалист, интеллигент. А вот и на кондитерскую фабрику имени товарища Дзержинского тоже не меня, а гражданина Каца? За что, говорю им, боролись, кровь в гражданку проливали? Гинзбургов и Кацов на хорошую работу, а меня в оперетту? Почему на хорошие места только из *нации*?!» А в отделе кадров горкома прямо вызверились на меня, грозно так: «Из какой-такой *нации*, товарищ?! Выражайтесь поосторожнее . . .»

А вскорости и выявилось, что к чему. Выявилось ясно и определенно, что это — даже во все и не *нация*, а много, сильно хуже: безродные космополиты. Вот тогда-то, как протестовал, мне чуть-чуть не вlepили по первое число, а через короткий отрезок времени, помню, взял я себе в заместители — тогда я директором музыкального техникума имени, простите, бывшего товарища Берии был, — взял, значит, в за-

местители по учебной части вилланчелиста Гершковича. И вызывают меня сразу же в горком: «Ты чего, мол, Осадчук, сионистов пригреваешь? А?!»

Нет, тут без максистско-ленинского чутья пропадешь! Особенно же раз мы в империалистическом окружении. Тут понимать надо.

А тогда тоже: Клара Цеткин. Вызываю я к себе в кабинет дирижера, секретаря парткома Бесхлебникова, профкомовца Криворучко — из интеллигентов, — и говорю: что-то у вас, товарищи дорогие, неувязочка: недосмотр, возможно: или наша оперетта имени Клары Цеткиной, или товарища Карла Цеткина. А то: Клары Цеткин... Выявите, — говорю, — виновников неувязки.

И опять эта интеллигенция: не предупредили. А разве за всем уследишь?

#### 4.

А было в течение моей жизни и такое: после, скажем, колбасного завода и оперетты — перевели меня в председатели промысловой артели трудящихся художников «Кооперативный Художник Революции». Вот и найдись сразу: на колбасном заводе ясно: скажем, повышение выпуска продукции и удешевление этой самой продукции. Сразу понять можно: положить в колбасный фарш побольше крахмалу — вот тебе и затрат меньше, и продукцию заметно повысить можно, и за перевыполнение плана бла-

годарность и премия. И никто не страдает, и потребителю без вреда: крахмал-то ведь — тоже продукт питания. А вот найдись-ка сразу — как в художественной артели быть? Но, оказывается, и тут найтись можно. Нужно только не забывать марксистско-ленинской диалектики и принципов соцреализма. Вот, скажем, работка «Кооперативного Художника Революции», прямо скажем, хуже, чем сезонная: от случая к случаю: к первому мая, к Октябрю, ну, умрет кто из вождей всесоюзного или местного характера. Тогда и кормились. Зато тут уж не зевай: тут огромные портреты для улиц на полотнищах, и портреты красноуголкового масштаба, и клубные типовые, и транспаранты, и всё это к сроку, к сроку! И еще узкое место данного производства: скажем, закажут к Первомаю портреты вождей, а тут один или два из них оказываются в самый последний момент право-левыми уклонистами или — того хуже — кровавыми псами международного империализма. И хорошо еще, коли это товарищ, бывший то есть товарищ, общеевропейского обличья физиономии — его еще как-никак переписать наскоро можно, а коли, скажем, такой, как бывший Мао-Цзе-дун?! Как его китайский узкоглазый портрет на какого-нибудь Ульбрихта переписать? Опять-таки — у дорогого товарища Ульбрихта борода аккуратная, а у бывшего Мао-Цзе-дуна, скажем, голó, как у телушки под хвостом... Беда, да и только!

Но и тут можно сообразить. Худрук нашей артели, товарищ Сапроненко, здорово надумал:



большие уличные полотнища портреты и транспаранты — они рисовались в один тон, прямо по транспаранту, разбрызгивателем. И вот придумал товарищ Сапроненко такие портреты и транспаранты делать сначала, так сказать, полуфабрикатами, типовыми: вожди всесоюзного масштаба и вожди иностранных коммунистических партий, кто поважнее, только анфасные, в профиль только покойный товарищ Дзержинский. Вожди местного характера и иностранные помельче — те в полупрофиль. И все — и мужчины, и женщины — только в бюст, чтобы какие хулиганы или контры ночью — не дай Бог — чего не пририсовали... Женские, впрочем, только два: Долорес Ибарури и Фурцева. И то не всегда, к случаю. Так вот: всего, значит, четыре типа полуфабрикатов для уличных портретов: восточного типа, круглолицый, понятно, европейского с усами, европейского в пенсне без оправы — бабочка называется, это без усов, конечно, и рядовой женский. Как нужно, скажем, было Сталина — то к полуфабрикату европейскому с усами еще пририсовывалась трубка и кепка, а бывшего Кагановича — с усами, но без трубки. И так — две-три черточки каждому, портрет и готов. Бывшего Берия — то полуфабрикат европейский, но без усов, а напротив, в пенсне-бабочке. Покойный Калинин — к полуфабрикату с усами европейского типа прибавлялись борода, волосы полуначесом и очки. Вот и успевали всё к сроку — заранее-то полуфабрикаты готовили.

И вот раз, как сейчас помню. Заказали нам, в числе прочих, Берию. Только успели его обработать на уличный масштаб, а он уже и стал кровавым псом. А мы еще не знали. Явились заказчики — и с ними, конечно, контролер по политическо-художественной части. Смотрит, хмурится, и прямым ко мне:

«Это что же вы, — орет, — портреты врага народа, гада Берии, не изничтожили?! Да знаете ли...» — и пошел, и пошел... А пока он разорвался, Сапроненко, ну, прямо, чудотвор, и успел его перебрызгать на нужный лад.

«Да вы ошибаетесь, товарищ дорогой, — так ехидно контролеру: — Что ж это вы, товарищ, никак спутали товарища Ульбрихта с агентом мирового империализма Берией?! Нехорошо это, товарищ»...

Смотрит контролер, глядят и заказчики — и даже рты у них поперек стали: действительно, Ульбрихт... Смутились совсем, извиняться стали, от страху даже заикаются...

Так своевременно и бывшего Маленкова на тогда еще не бывшего Мао-Цзе-дуна переработали. В общем, если подойти и к художественному производству, то и тут можно, если понимаешь дело, и генеральную линию неуклонно соблюсти, и план перевыполнить. Но нужно, конечно, иметь настоящее марксистско-ленинское чутье анализа.

1970.

## СЫНОВЬЯ

До чего эти купола-луковицы на белых баварских церквушках напоминают наши северные церковки! Но вот дороги . . . В Баварии даже проселочные дороги — превосходно ухоженные шоссе, обсаженные яблонями, а кое-где густыми кустами ежевики. Это уж не наши разбитые проселки! А на перекрестках баварских дорог — деревянные распятия, то свежевыкрашенные, яркие, новешенькие, то источенные временем. Облик Христа — баварский, мужицкий, крепкий, жесткий, суровый, до ужаса выразительный и натуралистический.

— Вот такие же деревянные Спасы и Распятия, Богоматери и святые в Закамьи, в Пермщине и среди коми-пермяков, — говорил мне Сергей, когда мы скитались с ним по дорогам Баварии, ища где-нибудь хотя бы относительно безопасного притула. Шла насильственная репатриация бывших советских подданных, и оставаться долго на одном месте было рискованно. Рюкзак за плечами со сменой белья, миской, кружкой и ложкой, суковатая палка странника — это все, что мы смогли захватить, убегая из Мариенбада от вступавших туда советских частей.

Ночевали на деревенских сеновалах, иногда и в лесу. Коротали время, рассказывая друг другу бывальщины и небывальщины, пережитое и прочитанное.

Сергей — геолог, не окончивший, правда, института: подвело социальное происхождение. Работал коллектором, техником, младшим сотрудником в геологических экспедициях, забираясь в дремучую глухомань и спасаясь там от чисток, проверок, эпидемий массовых арестов «чужаков». Геологом стал из-за куска хлеба, а с детства увлекался этнографией. Записывал сказки, песни, легенды, на последние гроши покупал книги по этнографии. Степенная, строгая бабушка, отозвав в уголок Сергееву мать, внушала ей повнимательней присматривать за сыном, увлекающимся *порнографией*. «Может быть, этнографией?» — робко возражала мать. «Говорю тебе, *порнографией*», — обрывала ее бабушка . . .

— В это лето, — рассказывал Сергей, — жил я неподалеку от Чердыни. Наша партия остановилась в глухой деревнюшке, — не поймешь даже — русской или пермяцкой: лица мужиков и баб, как у сарматских каменных истуканов, повадка чисто медвежья. Язык с таким наметом пермяцких, зырянских и татарских слов, что только на вторую неделю стали понимать друг друга.

Председатель сельсовета, распределяя нас по избам, оглядел меня с ног до головы — и решил, что я — неважнецкая птица:

— А ты, гражданин, будешь иметь проживание у Ульяны Богоделовой. Там, ясно и определенно, приварка не заимеешь: хозяйка сама с хлеба на квас перебивается, но изба ее чистая.

Ульяна встретила меня хмуро и неласково. Костистая, скрюченная, вся в черном, она не протянула мне даже руки. Спросила:

— Безбожник, небось?

— Нет, мамаша, в Бога верую.

— И беси веруют — и трепещут. Да веришь-то — по-истинну, по-старому? Щепотник? Тогда, уж не обижайся, посудой-то своей пользуйся: нам с сыном нельзя иначе.

В избе, слабо освещенной окнами-гляделками, в красном углу, под почерневшими прадедовскими образами, стояла — в рост человека — почерневшая деревянная Богоматерь с Младенцем. По-крестьянски сурово-сосредоточенная, казалась она подлинной хозяйкой избы.

— Алеша, вынеси-ка Богомать в моленну, — кивнула сыну Ульяна: — не гоже Ей со щепотниками в одной избе быть. Дед мой ее резал, — уже более милостиво пояснила она мне, — он большой резчик был, все часовни округ, верст на полтораста, а то и более, с его Спасами да Распятями стояли. Вот и звали его — богодел. Оттуда и мы, значит, Богоделовы. Было, как пост Великий, Спаса в черный бархат обряжали, с серебряными позументами. На Светлый праздник, скажем, — в золотную парчевую ризу. А на Троицу, наш, мужицкий Спасов день — Зелеными святками ее звали, — в богатую ризу травного шелка с золотым шитьем. Ноне-

то все часовни позакрывали, иконы и статуи на дрова порубали. В последний, значит, момент я Богомать-то эту спасла — вытащила ночью к себе: она в нашей часовенке была дотоль. Видал, знать, часовенку-то? Разор, искушение. Даже дверь сорвали — на одном навесе болтается. И то председатель наш ко мне все слоняется: чего ты, говорит, Ульяна, дурман религиозный у себя содержишь? К тебе в избу, вот, и товарищи Алешины забредают, и он сам еще школьного возраста — один соблазн у тебя в избе для несовершеннолетней категории . . .

Я бывал — и раньше, и потом — и в районных музейчиках, и в музее Пермском, и видал эти пермские деревянные скульптуры: Микол Милосливых, Егорииев Храбрых, Распятия, Спасов сидящих — в венцах терновых. Первостатная мужицкая силища и сдержка была в этих величавых Спасах и святых. А плюгавые антирелигиозники-экскурсоводы нудно талдычили зевающим колхозникам и курсантам военных школ, учащимся и педагогам, тыча пальцами в «пермских богов», что вот-де, вот — лучший пример того, как боги создаются людьми по их, людей, образу и подобию. Вот у пермского Спаса — местный монголоидный облик . . .

Ну, ладно. Вскоре моя хозяйка сильно обмякла. Особенно, когда увидала, что делюсь я с нею и ее Алешкой то окаменелыми пряниками, то цветастыми леденцами, то хлебом и жирами, скупно выдаваемыми нам, участникам геологической экспедиции. Для колхозников же все это было совсем недоступным лакомством.

Алексей был на диво молчаливым, забитым, пугливым парнем лет пятнадцати. Колхозный пастушонок, пас он трех тощеватых колхозных коровенок, четырех коз; помогал и по птичьему двору. Мать вдовела уже лет десять. От работы в колхозе была освобождена по калечеству — руки и ноги отморозила вконец на лесосплаве: упала в ледяную реку. Но зато и жили они только на скудные Алешины трудовни, да еще помогала кое-какая овощь с крохотного огорошка позади избы. Голодали покорно и привычно.

И каждый вечер долго молились, запираясь накрепко в моленной — чуланчике без окон, сплошь завешанном дониконовскими совсем почернелыми иконами. Там же теперь стояла и особенно чтимая ими статуя Богоматери.

Было это, помнится, в конце сентября. Не вернулся домой Алеша. Ульяна кинулась в сельсовет, вернулась — лица на ней не было: арестовали сына, даже домой зайти не дали. Стояли тогда самые голодные дни. На колхозном картофельном поле, после нерадивой работы колхозников, кое-где оставалась недобранная мелкая картошка — невырытая или рассыпанная. Вот и набрал Алексей эдак фунтов шесть такой картошки, и был тут же, на месте, схвачен деревенскими *косомольцами* — так их звали все колхозники.

Ульяну трудно было узнать: она моталась в сельсовет, ездила в город, к прокурору, в НКВД. Проникла в тюрьму. Вернувшись, была

бесконечные поклоны в моленной. Я слышал, как она взывала, рыдая и молясь:

— Сама Ты — Богомать. Сама должна понять: никак нельзя, чтоб Алешеньку моего засудили. Ведь он и до дому не донес картовь эту...

А когда узнала, что осудили Алексея на шесть лет лагерей — за шесть фунтов картошки, надолго заперлась в моленной и тихо, совсем тихо о чем-то шепталась с Божьей Матерью. Потом понесла в моленную топор и инструменты дедовы: — Не бывать и Твоему Сыну с Тобою...

Медленно и аккуратно вырубил и вырезала Младенца — сняла с рук Богоматери: — Не хочешь возвернуть моего Алешеньку, не быть и Тебе с Сыном.

И вот — поверить трудно! Через месяц с чем-то, что ли, вернулся домой Алексей. То ли шеvelyнулась совесть у прокурора, то ли еще что-то приключилось, да только переквалифицировали Алексеев поступок в мелкую кражу, засчитали ему предварительное заключение и отдали, как несовершеннолетнего, на поруки матери.

Дня эдак через два-три подходит ко мне Ульяна. стыдоба ее взяла, в глаза боится взглянуть, вижу.

— Сергей Иваныч, — тихо так, нараспев, еле слова роняет, а сама мелко и часто крестится двуперстно. — Сергей Иваныч, как не было вас с Алешей в избе, вот и явилась мне Сама Владычица, брови сдвинуты, насуплены, на меня



глядит так сердито: «Что ж ты это, — говорит, — Ульяна: где ж совесть у тебя! Я тебе сына возвратила, а ты Моего все еще на полатях содержишь? Смотри!» — грозит. А я, окаянная, на радостях совсем замятовала... Ну, вчера возвратила Ей Сына — Спаса нашего. А только надоть бы Сынку — Спасу нашему — рубашонку новую соорудить. Освободили ведь сына моего. А у нас с Алексеем — одни хоботья. Стыдобушка одна — не перешьешь из нее для Младеня Богова. Продай бы ты нам, Иваныч, какую свою рубашку. Городские они у тебя. А? Сынку-то ведь Богу...

\*\*  
\*

— Серега, — рассмеялся я. — Что ж ты это старое раскольничье сказание за с тобой случившееся выдаешь? Сам читал в «Цветниках» староверских, хорошо помню. А ты рассказываешь — и глазом не моргнешь... А предание это, очевидно, в цветники наши пришло как раз из Германии, может, и из этих вот мест. Только обрусело у нас совсем.

— Эх, ты, — рассердился Сергей, — эрудит занюханный! Тебе-то что? Ну, из «Цветника» или не из «Цветника»... Тебе не все ли равно? Хороший рассказ только испортил.

1970.

# Лимонарь псиный

Стада овец библейские седые  
и тот же хлеб, и та же горсть воды,  
и тот же ужас завтрашней беды,  
неотвратимой, как глаза слепые.  
И мудрая походка пастуха,  
наследника немудрого Исава,  
и тяжкая прадедовская слава,  
и крик предутренний провидца-петуха.

1946.



## СКАЗАНИЕ О ПСЕ ПРАВЕДНОМ

Всё у вас, которые по церкви мирской, а не по духу, — навыворот. У нас — Иисус, у вас — Иисус, у вас и Николай, заместо Николы Чудотворца, щепоть заместо двоперстия. Всё навыворот. И доселева так же. У нас — Максим Исповедник, у вас — Маркс им исповедник. У вас кот неверный, льстун — животи́на чистая, в алтарь его пускаете, а пес, говорите, смердящий, нечистый. А ведь и тут как раз наоборот. Вот слушай.

Было то в давнюю давность, при императоре поганом, не то Марксимилиане, не то Дialectикиане. Злой был — чистый Антихрист. Круто генеральную линию держал и люто преследовал христиан, которые по духу. Спасались от него христиане, кто как мог. Много было бегствующих — в дебри лесные непроходимые, в пропасти земные. А запоймают враги Христовы — муки принимали и от Иисуса не отрекались. Вот и спасались так семь юношей веры чистой и огненной в пещере дальней. И с ними верный пес — не какой там затейный, иноземный, борзой, скажем, а самый — самый русский, православный, хвост крючком, от радости Господней всегда кверху. И взмолились юноши Господу:

— Боже, ужель не дашь нам хоть глазком взглянуть на торжество Православия?! Так и не доживем мы, бидолаги, до жизни в Свете и Истине . . .

А не знали юноши, что была та пещера намоленной великим святым аввой, сорок лет на молитве не сходя в одном углу стоявшим, одну корочку хлеба в неделю евшим, одну кружку воды в три дня пившим. Было ж и так, что после того святого укрылся в той пещере блудня, пьяница и кощун, а уж по части девок — просто был похужее Никона-кобеля, сам родом из парижских курошупов, Селадон именем. И помер Селадон в пещере, и пришли старцы из пещер соседствующих — потому как пещера та была всем знаема как самая святая и чтимая. И слышат старцы — вой бесовский в пещере и смрад из нее нестерпимый. Взмолились старцы:

— Господи, рек Ты, что всяк, кто в пещере сей сколь-либо пробудет, навеки спасется . . .

И слышат вдруг — хор ангельский, а из пещеры дух цветов весенних. И глас свыше:

— Испытать вас, старцы, задумал. А хоть и смраднй блудня помер ныне в пещере сей, но место аввой великим намоленное и сего греходея спасло для жизни вечной.

Ну, а юноши того вовсе не знали про пещеру, семь праведников тех. И молились в простоте и чистоте сердечной: дай, мол, Господи, дожить и хоть вполглаза узреть грядущее торжество веры Твоей . . .

И уснули юноши . . . И проснулись ровно через триста лет такими же юными и такими же

радующимися о Господе. Проснулась с ними и собачонка их верная. Пошли они в город ближний, а там — престольный праздник: ликованье, пенье, хоры и хоругви, попы и архиереи двоперстием народ благословляют, дьяконы басят непомерно, колокола трезвонят.

Зашли юноши в собор — и тут же и представились, рассказав наперед народу свою историю, значит. И жили, и представились яко кадило благоструйное пред Господом.

А собачка — та ведь не просила хоть одним глазом, мол, взглянуть на победу веры — и тут же преставиться. А жизнь-то в пещере получила вечную. Потосковала-поскулила собачка у гробов семи хозяев своих, сорок дней и сорок ночей не принимала ни пищи, ни питья. А потом прижилась у праведника одного. И так и переходила от одного праведного к другому, из страны в страну, и никто не знал, что пес тот — вечной жизни удостоен: утаено то было Божиим соизволением.

Так прибился наш пес и к великому праведному протопопу Аввакуму. Идет огнепальный наш Аввакум Петрович по Москве, видит — плетется за ним пес лохматый, в летах, видимо, самостоятельный, с рассуждением, но очень сам бодрый и с радостью тихой в поступи.

— Ну, пойдем, штоль, со мной — дам тебе, бродяжке Божьей, штец похлебать.

Так и прижился пес у Аввакума Петровича. Добрый был, верный. И ни на кого зубов не скалил.

Раз не стерпел пес. Как сожигали праведного Аввакума, взъярилось сердце собачье, укусил капитана Ананьева, больно лютовавшего над страстотерпцем Аввакумом и иже с ним.

И свершилось чудо прямо на глазах у все-народства: тут же вместо пса явился святой бегун-нетовец Исакий, а капитан Ананьев вдруг оборотился лютым псом, перекусал множество народу и, бешеный, с пеной на морде, бежал, куда глаза глядят.

А Исакий, ни слова не говоря, и досель по Руси бродит. От него и наши бегуны-нетовцы идут: на все «нет» отвечают, только в духе молятся.

1969.

Зал, огромный как Сахара,  
на эстраде речи, речи —  
по шпаргалкам — словно дятлы  
долбят древо торжества.  
Бархат мантийных педантов,  
вдохновенный шелк ученых,  
саржа мантий бакалавров, —  
и с квадратного повершья  
камилавок высшей школы  
виснут кисти высших знаний.

И кислотину приветствий,  
нудных словоизвержений  
вдруг прорезал возмущенный  
и глубокочеловечный  
лай свободолюбцев-псов.  
И воспрянуло собрание:  
профессура, магистранты,  
докторанты, бакалавры  
пелену раздрали спячки,  
и незыблемость традиций  
стала снова человеческой.

1969.



## СКАЗАНИЕ О ПСЕ МИЛОСТИВОМ

Во времена давние жил в пустыне египетской праведный авва-отшельник. Ну, знаете сами, что у многих отцов-отшельников святых животины разные были. У Еронима — лев, скажем. А у нашего аввы — пес простецкий. Не лев, конечно, но ведь сказано, что каждому — своя слава: «ина слава солнцу, ина луне, ина звездам небесным, звезда бо от звезды разнствует во славе». У кого, значит, лев, а кому собачку Бог сподобил даровать. И сказано еще: «блажен иже и скоты милует».

Авва наш, хоть летами был и дряхл, но телом крепок, даром что на молитве по десять часов в день стоял, даром что спал часа по три, а остальное время в трудах непрестанных пребывал. Уж одно то, что за водой с кувшином ходить надо было далеко-далеко вверх по горе, к малому источнику. Ведь пустыня — это тебе не лесная дебрь: вода в ней подороже золота бывает. Пришел к авве другой авва — о божественном побеседовать. Был тот авва летами помоложе. Увидал, что хозяин-старец за водой пошел, — подхватил пришлец кувшин тяжелый глиняный и принес авве воды: поберег бы ты, мол, авва, силы — в летах ведь эвон каких.

Авва наш спорить не стал — ведь перечить, возражать — беса тем только тешить. Но как принес старец помоложе, пришелец, значит,

кувшин, молча вылил кувшин авва прямо на землю, на песок раскаленный, а сам взял кувшин и так же молча сам за водой поплелся. Не хочу, мол, и минуты без трудов праведных пробыть. А вода, я сказал уже, в пустыне египетской — это первейшая ценность, сама, значит, жизнь. Вернулся с кувшином авва, запыхался, а пес его, такой верный, такой ласковый, такой безропотный, не глядит на хозяина, морда не то сердитая, не то скорбная, сам перед местом, где вода была пролита, на коленях стоит и, ну, прямо поклоны бьет. По-своему, видать, молится. А сам потом авве мордой на пустыню, что внизу, под аввиной пещерой пролегает, кажет и кажет. И авва, осерчавший вначале, сильно духом смутился: хоть и подслеповат был, а увидал: через раскаленную пустыню бредет бедно одетый странник, так, в годах уже, и ведет осла. А на осле женщина молодая с младенцем. И от жара нестерпимого, от безводья, изнемогли все до крайности: и средовек тот, и мать, и младенец. А ослик их, уж на что животное ко всему привычное, уже еле-еле на ногах держится.

Поспешили оба аввы вниз, уразумев знамение, потащили и кувшин с водой, а из места, куда авва по злобе и гордыне отшельнической воду вылил, места, псом милостивым намоленного, вдруг заструился чистый и студеный источник. И повернули к нему путники, а аввы шли следом за ними и нестройно, но радостно пели: «О Тебе радуется всяческая тварь».

1969.

## СКАЗАНИЕ О ПРОСТЕЦЕ, ЕГО ЖЕНЕ, КАЛЕКЕ И ПСЕ ВЕРНОМ

Давным-давно, во времена незапамятные, жил в стольном граде благочестивый простец. Достатка был среднего, но о завтрашнем дне задумываться не должен был — на все хватало. И стукнуло ему уже шестьдесят, ну, а жене его, красивой, живой, вальяжной, было на двадцать лет меньше. Сам-то простец уже больше помышлял о делах общественных, либо о премудрости всяческой, чем о своих обязанностях супружеских. И жена его естественно затосковала. Четверо деток уже повзросли, дом — полная чаша, а чаша жизни не наполняется. Вернулся раз простец из командировки в глубинку, глухую провинцию, — да и застал жену в объятиях Павлина, красавца слесаря. Усмехнулся простец, говорит:

— Все понятно, друзья... «Старый муж, грозный муж...». А только — где ты, Павлин, поселишься с моей бывшей, а теперь — твоей — женой? Не в заводском общежитии, где в каждой комнате по пять-шесть коек? И чем прокормишь деток, да еще чужих? Зарплата-то у тебя даже не стахановская...

А Павлин только и отвечает: — Люблю. И она любит. Все перетерпим, любя. И общежитие, и недостаток монеты. Любовь-то всего выше.

Простец тогда к жене: — Слушай, ведь Павлин-то моложе тебя лет, почитай, на девять-десять. Ну, в соку она сейчас, любовь-то ваша. И ты пока в соку, как расцветшая роза. Но ведь осенняя красота — бабье лето это. Скоро может осыпаться. И вынесет ли цветок любви вашей ветер невзгод, бедности, ежедневных дрязг, зимний ветер и первые заморозки старения?

И задумались все горько: тяжки мелочные укусы жизни. Но очнулась жена, выпрямилась, посмотрела мужу в глаза: — Пусть. Пусть будет, что будет. О завтрашнем дне не думают, когда любят, когда сегодняшней день полон. И если и бросит скоро меня Павлин, все-таки буду благословлять дни, с ним проведенные.

И сказал тогда простец: — Вот вам развод, и вот все имущество мое передаю вам — и дом мой, и сад мой, и огород, и пашню, и сбережения мои в банке. Себе оставляю на прожиток малую часть и домик-сторожку в деревне. Мне на дожитие много ли надо? Да вот и собаку свою верную — Лохматку — с собой возьму.

А собака у простеца была большущая и такая лохматая — спереди — голова, грудь и ноги — пепельного цвета, с нависающими прямо на глаза длинными космами — глаз не видать! — а далее — белого мутноватого цвета. И решительно все понимала. Поглядела на хозяйку и Павлина сердитым глазком, порычала на них, но раз хозяин — ничего, и она не тяпнула: смирила свой собачий нрав.

И зажил простец с Лохматкой в домике деревенском. Раз в неделю за провизией ходит на

колхозный рынок в ближайшем городе — ведь в самой деревне, натурально, ничего не достанешь. Много молится, читает Писание, размышляет о божественном. И решает: все еще живет по-мирскому, себялюбиво, неладно. Для ближнего своего делает мало, лишь свою душу спасает.

Раз, на базаре в городе, видит простец калеку-нищего: без рук и без ног, на ошарпанном постаменте на колесиках-роликах, на груди — ордена и плакат: «Помогите инвалиду Великой Отечественной». Сам калека, натурально, пьяноват; перегаром от него на расстоянии разит, поет песни, власти и буржуев новых матерком кроет, глаза красные, что у кролика.

Взял простец калеку того к себе. Обмывает его и одевает, кормит и поит. Первое время калека ничего, ведет себя соответственно, но через неделю — шел тогда Великий пост — заскучал: «Мяса подавай!» — и того пуще: «Что ж ты, скаред, меня всю жисть будешь без водчонки держать? Меня, меня, ветерана-инвалида Великой Отечественной Войны!?»

— Пост ведь, — увещает калеку простец, — ну, потерпи. Хоть и грех это, но на Святой неделе не только мяса будет вдосталь, но и водчонки для тебя куплю.

А калека пуще злится: — Ишь ты, спастись на своем «великодушии» решил, меня не спросясь. А, может, я совсем не хотел, чтобы ты меня к себе в свою деревенскую глухомань притаскивал. А мне, может, интереснее было среди народа толкаться, притащит меня маль-

чонка на базар, дам ему рублишко, да вечерком он же меня за рублишко обратно в ночлежку притащит, а на базаре кто пирогом, кто колбаской, кто водчонкой угостит — за убожество за мое, за песни веселые матерные. А ты — тоже спаситель нашелся! — на чужом горбу в рай хочешь въехать! Мяса давай! Водки!

Терпит простец, зубы сжимает до хруста, рукой руку придерживает, чтобы калеку не сдунуть в ухо. Но после Святого Дня не стерпел: посадил калеку в ручную повозку-колясочку, — да и отправился с ним в монастырь Антония Великого, в пустыню Фиваиду. А калека всю дорогу скандалит, простеца поносит, последними словами его обкладывает, даже плюет на него с остервенением.

Святой Антоний — было ему уже под сто лет — в самом монастыре не жил, жил поодаль, в пещере малой, но эдак в неделю раз прибредал в монастырь — дать наставления братии, благословить ее на дальнейшие подвиги, дать наставление и паломникам, приходящим в скит тот изо всех городов и сел и Египта, и других стран. Но — чтобы попусту не тратить слов наставительных — спрашивал всегда сначала игумена монастыря о пришедших: «местные», мол, или «эмигранты». «Местные», дескать, люди занятые, если уже оторвались от работ и забот, то по существенному обстоятельству, даром дом и бизнес не бросят; а «эмигранты» — паломники стран иных — тем делать особенно нечего, они птицы перелетные, они и за малым делом готовы за тридевять земель киселя хле-

бать отправиться. Так ежели игумен говорил: «эмигранты» пришедшие ныне паломники, Антоний к ним не выходил, а велел их только накормить пирогами и котлетами, а сам издаля благословлял их стол — и всё. Конечно, бывали и эмигранты, которые по серьезному обстоятельству: тех игумен, понятно, звал «местными»: эти ведь клички-звания были не по анкете-правожительству, а по сути внутренней людей пришедших.

В тот раз, как придти простецу в монастырь Антониев, все больше прибыли «эмигранты», люди несущественных запросов и вопросов. Ну, и еще, натурально, хроникеры и собственные корреспонденты — газетиры и журнальщики — их, понятно, Антоний на пушечный выстрел не подпускал. Благословил только трапезу и паломников, и поскорее в келью к игумену, — чтобы корреспонденты не успели его снять: те уже, как всегда, свои фотоаппараты на него устали. Загрустил наш простец. А собака его — Лохматка — прямо в келью игуменскую, и Антония за кожаную хламиду к хозяину своему так и тянет, так и тянет. «Вот верный пес, — усмехается святой, и взывает в трапезную: — А ну, простец, заходи-ка сюда со своим инвалидом». Лохматка тут от радости даже на задние лапы встала — огромный пес, серьезный, а тут, ну, прямо, пляшет.

— Рассказывай, с чем пришел, — обращается Антоний сначала к простецу.

Так и так, рассказал простец свою историю с калекой.

— Нет уже сил терпеть, как он, калека, надо мною изгаляется, — рассказывает с дрожью в голосе. — Думаю: отвезу-ка я его обратно на базар. Всю душу мою вымотал.

— Ладно. Значит, хочешь ты, чтобы кто-то другой — вместо тебя — Христов дар получил? За добро и терпение свое? Неужли думал ты, что получишь награду здесь, на земле сей? Ты простец, да не дурак же: на земле всегда за доброе дело жди от облагодетельствованного злобы и мести: должен ты это сам понимать. Ну, отправишь калеку опять побираться на базаре. Ну, пригреет его кто-нибудь другой. Свет ведь не без добрых людей. А ты венца за нетерпение лишишься. На-ка, в виде эпитемьи, свяжи-сплети веревку из ста ивовых прутьев.

Обратился затем святой к калеке, и ну его пушить-распекать: ты, мол, что: знаешь, в Писании что сказано: ежели кто накормит голодного, напоит жаждущего, утешит страждущего, оденет нагого, — это не человек сам только, а сам Христос посетил убогого и накормил, наполнил, утешил, одел его. А ты, негодник, на Христа лаешься? Вот тебе эпитемья: не ругайся матом хотя бы только сутки. Непосильно?! Осилишь, проси в молитвах о долготерпении . . .

Заплел-сплел простец кое-как веревку из прутьев ивовых, а Антоний нахмурился, да всю веревку ту забраковал, велел расплести и сплести вновь. Испытывает эдак простецово долготерпение. А пес Лохматка за хозяина своего расвирепел, и разорвал со злости край кожаной хламиды Антония. Зачем, дескать, над хо-



зяином-добряком надсмехаешься? Ласково рас- смеялся тут Антоний Великий:

— Ну, будет. Не плети веревку — все равно, ты не больно мастер. А ты, убоже, не матерись больше. Домой отправляйтесь, молитесь: близок, при дверях час ваш последний.

Вернулись простец с калекой и Лохматкой домой, а через сорок дней и сорок ночей представились все решительно одним разом. И с ними — по случаю ли, либо по Божьей воле, — в тот же день представились жена простеца и ее новый муж — красавец Павлин: зарезал их не то революционный какой бандит, не то просто разбойник. И сам бандюга, как убегал с добычей, попал со своим автомобилем под встречную машину центуриона городской полицейской когорты. А за неделю, сказать надо, представился и великий святой — Антоний.

Вот и идут по Млечному пути к райским вратам цепочкой, гуськом: впереди — тачка, на ней — калека. Тачку толкает простец. За простецом — его бывшая жена, а за нею — ее последний муж — Павлин. За ними пес Лохматка, все время озирающийся назад и скалящий злобно зубы на революционера-бандюгу или, там, просто разбойника. Калека всю дорогу сиплым голосом воет дурацкие песни, правда, теперь без матерка:

Как безногому-безрукому солдату —  
Вместо корма, вместо водочки —  
Понабили в ж..у раненую ваты,  
Орден дали, посадили в лодочку . . .

Простец спокойненько толкает тачку вперед и ввысь, с устатку потеет и вытирает пот рукавом, да тихо творит молитву, чтобы не взъяриться на калеку. Жена его бывшая от волнения — что-то ее и Павлина ждет теперь? — без отдыха мелет и мелет языком, а Павлин отмахивается: — Да замолчи, для-ради Бога! Дай хоть после смерти о Боге и о душе подумать. А собака то хвостом машет, то норовит искушать террориста-разбойника или там просто бандита.

Вот и на стук прибывших растворились врата раевы. Но стал в растворе врат Петр Апостол с ключами: — Докладывайте, кто вы все — и почему именно решили сюда, в рай?

Отвечает калека: — Да куда ж мне, как ни в рай? Ни рук, ни ног, вся задница в крови, в синяках — только она ведь, да брюхо у меня и остались боле-мене цельными, и брюхо пищи требует, а проживи-ка на солдатский пенсион, и это безо всех четырех конечностей. А что матершинник и пьяница, — так какая иная утеха у меня осталась? Понимать надо.

А Петр к нему: — А почто своего благодетеля ругал? За что изгалялся над ним?

Калека: — Опять ты за старые песни: разве я просил его надо мною благодетельствовать?! Катитесь вы все, благодетели рода человеческого, колбаской!

Тогда Петр к простцу: — Ты тоже хорош: то благодетельствуешь, то от нетерпежа от благодетельства своего отрекаешься. Где ж тебе в Рай светлый . . .

Простец чуточку озлился: — Немоощен человек, не всегда стоек и терпелив. Ведь и ты, Петр, трижды от Христа отрекся... А вот — вратарь Рая.

Петр закусил бороду, только под нос: — «Кто старое помянет, тому глаз вон», — и к бывшей жене простеца:

— Ну, а ты-то чего в райский сад приплелась? Изменила мужу, при его жизни вышла за другого...

Подбоченилась жена: — Ты что мне за указчик? Повиновалась я природе своей, а она Богом сотворена: муж-то мой староват стал, и все больше по общественным делам и мудрствовал, а мне, бабе, что оставалось делать? Я — женщина и мать. Я свой природный завет исполняла. Бог меня создал такой — пусть Бог и судит.

Тогда обратился Петр к Павлину: — Ну, а ты? Молчишь? Сказать нечего? То-то! Может, ты и есть главный греходей.

Павлин же тихо и убежденно: — Я ее любил. И люблю. И всё тут.

И Петр Апостол тут потер переносицу ключами, подумал еще, и решил:

— Нет, рано вам еще всем в Рай. Не пущу вас.

А пес Лохматка схватил Петра за край ризы — и прямо-таки оттаскивает от врат райских, чтобы хозяев своих пропустить. Петр Лохматку ногой, — не отстает пес: — Что ж это, выходит, что и пса бездушного в Рай пускать? Отвяжись, пристал, как репей!

Незаметно подошел к Петру новопреставленный Святой Антоний Великий:

— Святой Апостол, почему хочешь разлучить ты пса верного с хозяином его? И почему пес — бездушен? Ведь творение Божие он. Пусти-ка всех в рай — достойны они.

— И меня! и меня! — благим матом заорал тут просто разбойник или, там, революционный бандюга. — Разве и тут — классовый подход?!

Но Лохматка оцетинился — и прямо на разбойника. Повеселел Святой Петр: — Вот собака — та поняла, как трудно, как тяжело мое место привратника: разве мне не жаль всех? Разве не понимаю, как трудны дорожки в Обитель Горную? Плачу, скорблю, но не могу же всех пускать! И убийцу — и жертву его. Послужишь ты мне, пес верный. Ну, проходите все, что ли. Но не ты, разбойная душа. Ишь, разохотился . . .

Врата захлопнулись. И долго еще были слышны истошные крики разбойника: — Империалисты! Классовая расправа и классовый подход!

1970.



# Коридоры

*В бесконечной дали коридоров  
Не она ли там пляшет вдали?*

Александр Блок.



В звенящем стекле осенних коридоров,  
устланном золотом верности и кровью листвы,  
так прозрачны дали бегущих в небо  
всхолмлений —  
волосатых мышц завалившегося спать старого  
крепьша Атланта.  
Небо — ласково-прохладные как белое вино  
груди любимой,  
нежно прижатые к просыпающемуся на  
сентябрьском рассвете  
среди звенящих стекол бесконечных коридоров,  
бегущих к Богу,  
теряемому и вновь находимому  
в твоих крепких как яблоко  
плечах.

Любимая!  
Только в тебе та тончайшая горчинка,  
какую пьешь в воздухе просторного сентября,  
без которой жизнь —  
та же небесная манна,  
с отвращением равнодушия необходимости  
глотающаяся евреями,  
в пустынных скитаниях вожделенно  
вздыхавшими  
о чесноке брошенного Египта.



Шуршит под подошвами осенняя листва:  
я бегу к тебе,  
наскоро умывшись рассветным солнцем,  
по сквозящим переходам склонившейся жизни,  
боясь пробудить вспотевшего утренней росой  
Атланта:  
скорей бы к добрым коленям,  
мудрой плоти,  
свежей земной любви!

1967.

Дружба рождается не как дитя, не сразу,  
а как вино, крепчающее год от года  
В бочке, слаженной на диво из плотной дубовой  
клепки  
мохнатой ручищей любомудра-жизнелюба —  
богоравного бочара.  
Сначала сладкое сусло — зеленое, чуть с  
кислинкой,  
подверженное случайностям ветреной погоды  
(нет, я люблю тебя за то-то и за то-то), —  
оно бродит потом в уверенной в себе дубовой  
плоти,  
коричневая, буря вспышками руготни и  
бульканьем воркотанья  
(но почему все же, варум, пуркуа, май дир?!), —  
и наконец вскипает густой кровью сердца  
пожившего — и потому знающего,  
что такое жизнь,  
а потому осторожно и бережно  
разливающего вино плоти  
в протертые до раннеосеннего блеска  
хрустальные бокалы духа,  
уверенной рукою поднятые к сводам жизни:  
— за встречу, за верность, за дружество, —  
— за друга!

1967.

## ЯБЛОКО

### 1.

Счастье растет на древе жизни как яблоко — сорвать его не труднее, чем любопытной Еве, — и пусть даже оно обернется кислым дичком, — все-таки оно сорвано, яблоко, и началось все, чему надлежало начаться, без чего жизнь была бы только детским садом, старинной прописью запрещений и лишь мальчишечьим подглядыванием в щелку забора, окружающего рай, — что же творится на белом свете? . .

### 2.

Думаю, — Ева была итальянкой:  
ее любопытство привлек скорее изысканный  
иноземец-Змей,  
чем простодушное румяное яблоко.  
А Адам, несомненно, был негром,  
беспечным садовником монотонного рая:  
мог ли он работать без хозяйского присмотра?  
И почему не съесть плод запретный,  
когда Господин не видит?

Он пел и тогда, когда его изгоняли из рая:  
ведь с ним была и полногрудая белая жена,  
и он уже нанялся к другому господину —  
Туку-Муку-Лумумбу,  
создателю слона и барабана.

3.

А яблоко мы теперь даем детям.

1969.

Эта древняя глина,  
обоженная греками Гомера,  
отъединилась  
в новом здании  
американского университетского культурного  
центра, —

чернофигурная ваза  
для вина хиосского,  
твоя ли вина,  
что вокруг слоняются  
бородатые и босые, —  
не брадатые полунагие эллины,  
о нет, —  
не радующиеся звонкой глине тысячелетий,  
где вытянутая на округлой поверхности фигура  
стремится в суровое счастье,  
добываемое меднообутыми воинами  
для их полногрудых, с чадообильными лонами  
жен и наложниц,  
рождающих воинам  
крепких как яблоко детей . . .  
Нет, бродят безвольные выкормыши  
настойчивых отцов,  
уверенно упирившихся  
баптистскими и методистскими ступалами  
в асфальт вавилонов и вавилониц  
тучного Нового Света.  
Отцы-то понимали

гулкую медь щитов и разящую медь мечей  
разбойных,  
сами копили золото  
и вот эти древние вазы,  
даже не вникая в их тленный запах бывшего  
величья,  
еле-струйный дух вина, огня и земли,  
любовного пота жен,  
боевого пота солдата.  
И у них было свое —  
Неулыба-Бог,  
распевающий унисоны моральных прописей  
среднего человека,  
руки в мозолях неустанной заботы,  
чинный и замкнутый домострой среди лязга и  
грохота заводов  
и крутая устремленность  
к своему достоинству и свободе.

Но что и отцам и детям эта звонкая глина?!

1969.

## РАЗГОВОРЫ ОБО ВСЕМ ПОНЕМНОГУ

Весна 1966 года. Брожу по Лувру. С фотоаппаратами через плечо, растерявшись от непомерности и бесчисленности зал, перебегают от статуи к саркофагу, от картины к статуе средневеки в мешковатых костюмах:

Пора вам знать, я тоже современник,  
Я человек эпохи Москвошвея,  
Смотрите, как на мне топорщится пиджак . . .

— Петька! Сыми вот эту статую: больно титьки хороши . . .

— Не. Не буду. У ней голова отломана . . .

Это — экскурсия. Может статья, — инженерно-технические работники, — может, — колхозные агрономы, учителя, — кто их знает? Из СССР. Советское варварство (об этом пишется немало . . .), резкий упадок общей культуры? Да, очевидно. Но была ли она когда-нибудь — не у верхов культурной элиты, не для единиц, а так, скажем, для более или менее средней интеллигенции — достаточно высока и — это главное — насущно необходима?

Разве далеко, скажем, к 1913 году, ушли, чеховские времена, когда «штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог, и в доказательство привел два стиха из Лермонтова; поручик Гернет сказал, что если бы Пушкин не был психологом, то ему не поставили бы в Москве памятника».

Разве далеко от этого ушел возглавитель может быть самой культурной по своему составу политической партии — партии кадетов — Миллюков, в своей истории русской культуры меньше уделивший места Достоевскому, чем, скажем, какому-нибудь Надсону или Помяловскому? К слову сказать, далеко не ушел и рафинированнейший Сирин-Набоков, трактующий того же Достоевского как невысокого таланта автора детективных романов. Дело не во вкусах, не в незыблемой «табели о рангах», а в отсутствии трудно определяемого шестого чувства — чувства культуры.

В общем, это порождение того же безвкусыя, какое заставляет, скажем, Академию наук СССР, в 1968 году, писать о Владимире Соловьеве, например: «Прославляя религиозную философию В. Соловьева, современные обскуранты видят в этом один из способов популяризировать обветшалый реакционный тезис о врожденной религиозности 'русской души' . . .» (*История философии в СССР*, т. 3, стр. 391). Ну, а обращаясь опять с Востока на Запад, не того же ли порядка мысли о религии в последней книге Н. Берберовой? Дело не в религиозности



или атеизме, а в хотя бы элементарной грамотности и вкусе. Правда, и тут требуется культура. Даже для богоборца. «Не всяк глаголай 'Господи, Господи' внидет в царство небесное». Не всяк пишущий — даже иной раз успешно — прозу или стихи, внидет в царство культуры — или даже может обнять то неуловимое, что делает то или иное явление культурой.

Но может ли быть вообще культура хотя сколько-нибудь массовой? Да и вообще — можем ли мы говорить о какой-то единой культуре? Культура — это прежде всего своеобразие, — свидетельствует Константин Леонтьев. Была, по крайней мере, в свое время, русская самобытная крестьянская культура. Была культура своебытного купечества и мещанства — и, отчасти, примыкающая к ней культура духовенства — культура, как правило, порождаемая устойчивыми социально-культурными группами. Пыталась народиться особая русская интеллигентская культура — с ее подчеркнутым социально-политическим этицизмом, религиозно-философским нигилизмом и явной нетерпимостью к инакомыслящим. Не народилась эта интеллигентская культура хотя бы уже потому, что оригинальности в ней не было ни на грош, питалась она брошюрками демократов Запада, а всякую самобытность третировала как шовинизм и отсталость. Может статья, единственно оригинальным в этом культурном гомункулусе было непрерывное стремление к покаянию: кающиеся перед крестьянством дворяне, каю-

щиеся перед пролетариатом интеллигенты из буржуев, кающиеся перед народом поэты, хотя бы раз осмелившиеся бряцать на лире рукой вдохновенной вместо того, чтобы выть на Волгу у утеса Стеньки Разина или у барского парадного подъезда — все о горюшке народном:

Поэтом можешь ты не быть  
Но гражданином быть обязан.

Ведь вот никто — даже из среды социал-интеллигентов — не возглашал, что, мол:

Портным ты можешь и не быть,  
Но гражданином быть обязан.

Всякий понимал, что гражданин ты или не гражданин — это для других дело десятое, а вот дело свое ты, если хочешь быть полезен другим гражданам, должен знать прежде всего профессионально. Быть мастером. Не обязан распевать к месту и не к месту «Смело, товарищи, в ногу», но обязан сшить такие сапоги, чтобы на ногах не набивались мозоли, сшить такую рубаху, чтобы она не делала заказчика горбатым и кривобоким. И только по отношению к культуре профессиональное умение считалось — и считается еще не только на шестой части света — необязательным: *поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан* . . . Но скажите, почему именно обязан? А если меня не интересует эта самая гражданственность, да еще понимаемая явно кривобоко: будь обязательно демократом, социалистом, атеистом, коллективистом — и так далее. А если я не согласен? Если не хочу? Нет, обязан. Орден интелли-

генции был не менее, а более нетерпим, чем иезуиты, скажем. Вот и не состоялась общероссийская культура, как социально-историческое явление. Вслед за гениями в литературе, музыке, театре, у нас шла такая беспросветная серость, такая безнадежная бездарь, что диву даешься — как такое могло существовать на хотя и не упорядоченной, но обильной и богатой русской земле. На западе были и Бах — и Иоганн Штраус, и Шекспир — и Шерлок Холмс Конан-Дойля, и высокая драма — и вполне добропорядочный театральный ширпотреб. У нас вслед за Достоевскими и Лесковыми шли Муйжели и Серафимовичи, за Мусоргскими и Римскими-Корсаковыми — Рябовы и Вильбушевичи. И именно эта серость и одолела после Октября: долой писателей-индивидуалистов! Долой сверхчеловеков! — крикнул Ленин. Искусство, культура — должны быть общедоступны и всем понятны. А, главное, —

Поэтом можешь ты не быть,  
Но коммунистом быть обязан.

Новая песня? Нет, очень старая. А сейчас она, увы, поется и на Западе: в Америке появляются «кающиеся рабовладельцы» — притом из числа потомков тех людей, которые и в Америку-то приехали после освобождения негров. Появляются и другие покаянные течения — и в Америке, и на Западе вообще. Недаром даже сексуальные темы, весьма при этом откровенно подаваемые, не могут отставать от общей генеральной линии — и наименовали себя «сек-

суальной революцией». Правда, и тут уже все так приелось, что даже откровенный показ совокупления на сцене или на экране возбуждает лишь пожатие плечами:

— Ну, и что?!

— и приходится прибегать к более острым темам:

Артистом можешь ты не быть,  
Но педерастом быть обязан.

Или — вариант: «Но ты садистом быть обязан».

Ново? О, нет. Социалистическо-сексуальные (с общностью жен) коммуны знала уже нигилистическая Россия 1860-х годов. Это потом, утвердившись и закрепляясь, коммунизм начинает люто преследовать за поцелуй до брака — по крайней мере, в «массовой» литературе... Ну, а во всех шведских и прочих откровенно сексуальных фильмах героини и герои попутно проповедуют коммунизм. Ничто не ново под луною. Хиппи — повторение русских предреволюционных «огарков», только с более яркой (время-то идет вперед!) социалистической окраской. Даже немытость — повторение интеллигентской культуры России 1860—1870-х годов:

Грязны, неучи, бесстыдны,  
Самомнительны и едки,  
Эти люди, очевидно,  
Норовят в свои же предки.  
... От скотов нас Дарвин хочет  
До людской довести середины —  
Нигилисты не хлопчут,  
Чтоб мы сделались скотины.

И вовсе недаром — вместо западного слова «интеллектуалы» в Европе и Америке начинает все более и более входить в употребление пришедшее из России словечко «интеллигенция». И если ранее можно было завидовать культуре Запада — ее социальной широте: от Баха — до добротнейшего Легара, от Данте — до все-таки ловко и профессионально работавшего романиста Бенуа, — то ныне беспросветная провинциальность и мертвечина советской псевдокультуры никак не компенсируется «массовой» культурой Запада. Ибо массовая культура теперь, более, чем когда бы то ни было, к культуре отношения никакого не имеет. Да и иметь не может.

Культура порождалась всегда единицами, творилась единицами — и потребителями ее, в ее высших проявлениях особенно, были очень ограниченные и чаще всего замкнутые, весьма численно небольшие группы населения. Даже меценаты чаще всего не были подлинными ценителями культуры, а лишь рассматривали свое материальное покровительство культуре как некую социальную привилегию и некоторое самоутверждение себя, как общественной силы. Келья монастыря, замкнутый кабинет ученого, студия живописца и скульптора, зодчего или поэта — вот те узкие родники, которые питали культуру. И ученики были, в сущности, подмастерьями, все обучение было строго индивидуализированным — преемство культуры было органическим, никак уж не обезличенным.

Никто не говорит: начальное обучение, особенно при теперешнем уровне техники, обязательно должно быть обязательным. Но зачем делать почти что обязательным для всех среднее — и таким широкораспространенным высшее образование? Ведь при такой массовости оно невольно делается обезличенным и обезличивающим. Кто не знает, что, скажем, изучение литературы в средней школе — сплошной умственный разврат, притом надолго, если не навсегда, отучающий прошедших среднюю школу читать проходившихся в ней писателей: сколько людей после школы навеки закрывают для себя Пушкина и Лермонтова, Гоголя, набивших оскомину на школьной скамье! А какая школа фразерства, пустопорожней болтовни о том, чего до пути не понимают ни ученики, ни огромное количество их учителей?! Ну, что может, кроме совершенно нестерпимой пошлости, написать сам средний, рядовой преподаватель средней школы на тему «Евгений Онегин, как общественный тип» или «Характеристика девушек Тургенева». А ученикам эти темы задают... Вот и приучаются и учителя и ученики к пошлейшему словоизвержению, к набившим оскомину штампам. А кончив школу человек редко-редко сам обратится к тому же Онегину или «Дворянскому гнезду» — так они навязли у него в зубах. Зато — вместе, скажем, с профессией бухгалтера или врача, инженера или биолога — человек, окончив среднюю и высшую школу, совершенно задаром, пальцем о палец не ударив, приобретает (в виде прибавочной

стоимости, как издевался в свое время Михаил Леви́дов) добавочное звание интеллигента и культурного человека. А приучился он только выталкивать из себя: «Евгений Онегин и Печорин — как типы лишних людей», путая при этом, скажем, пушкинского Онегина и либретто оперы Чайковского (один искренний — и то похвально! — чудак в парижском «Возрождении» с год назад даже написал при этом, насколько «Пиковая дама» Чайковских — Петра и Модеста — глубже и трагичнее пушкинской повести...). Вот и получают в результате люди, не стесняющиеся писать о Владимире Соловьеве и религии на уровне советской истории философии или книги Берберовой: общедоступная брошюра их оплодотворила... Разницы, в сущности, никакой: в 1910-х годах:

«Прочитали Метерлинка?»  
— «Да. Спасибо, прочитал...»  
— «О, какая красота!»  
И хозяйкина ботинка  
Взволновалась, словно в шквал.  
Лжет ботинка, лгут уста...

Через почти что шестьдесят лет:

«Прочитали 'Кэнди', 'Аду'?»  
— «Да. Спасибо, прочитал...»  
— «Ведь следить за новым надо,  
И какая красота!»  
И хозяйки босоножка  
Взволновалась, словно в шквал...  
А читала-то немножко  
Лгут румяные уста...

Нет, пока школа будет выпускать не просто мастеров-специалистов, а и — добавочно и за дарма — давать звание интеллигентов и культурных людей — будет все больше и больше проваливаться в небытие культура: широкое распространение общего образования и массовое производство «интеллигентов» с высшим образованием обратно пропорционально развитию культуры. Ведь любого может обескуражить такое — нередкое ныне — суждение (его я слышал от одного русского зарубежного романиста):

— Ну, к чему это ходить в картинные галереи... При теперешней технике цветной фотографии... —

Было бы совершенно справедливо, если бы этот субъект говорил это про советскую официальную живопись социалистического реализма, но речь-то шла о Рембрандте и Веласкесе, Дега и Сезанне...

— Проклятая музыка — *слушать* мешает.

Но это, так сказать, честные примитивы. А сколько нечестных суждений, слепо следующих последнему крику моды: примеров столько, что лень их приводить...

И какое количество нравственных и умственных калек плодит эта система выпуска «культурных сил» по массовому конвейеру! Ни таланта, ни подлинных знаний, ни способностей, а притязания растут непомерно, а способность к выбрасыванию готовых, штампованных суждений приобретена и закреплена на-



глухо. А были бы просто хорошими специалистами — и им бы было в прок, и другим на пользу. И создавалась бы своя, посильная и в меру способностей и кругозора, но подлинная культура: ведь культура-то — понятие весьма иерархическое: нельзя говорить о единой культуре Пикассо — и Герасимова, Заболоцкого — и какого-нибудь Шолохова, Шостаковича — и Хренникова. И если бы, скажем, тот же Хренников не был сопричислен к «композиторам», а был, скажем, скромным военным капельмейстером и сочинителем песенок для эстрадных концертов, — насколько было бы лучше и для культуры, и для самого Хренникова: и ведь зарабатывал бы больше, и себя бы уважал: хорошо делает, мол, свое дело . . .

Аристократизм и известная замкнутость, численная ограниченность культуры ничего общего не имеет с «сословностью» и «классовой ограниченностью». В культурном отношении и прирожденный аристократ может быть «не избранным», принадлежать к цивилизованному плебсу, и малограмотный крестьянин может принадлежать к творческой элите. Да так всегда и было. Крестьянин Клюев принадлежит к изысканнейшим творцам поэзии для немногих, сапожники Яков Беме и Ганс Закс принадлежат к вершинам немецкой мысли и поэзии, а граф Салиас и княгиня Бебутова — были любимым чтением классных дам и горничных. Недалеко от них отошел и благороднейший человек, но плохой поэт — великий князь Константин Константинович: его читатели тоже не вы-

ше бebutовских . . . И все-таки мы так привыкли к демократическим штампам «всеобщего обучения» и «культуры для народа — всенародной», что совершенно не отдаем себе отчета в том, что Прокруст был, по сравнению с нами, просто кустарем и даже праведником: он лишь вытягивал или обрубал прохожим (а много ли их было на пустынных дорогах греческого захолустья?) слишком короткие для его кровати или слишком длинные ноги. А мы вытягиваем, обрубаем, калечим души миллионов и десятков миллионов, приноравливая их к убогому ложу наших домодельных догм и предубеждений, убивая непосредственность, самобытность, способность видеть все своими глазами.

А потом говорим об упадке культуры.

Нет, тот мешковатый пиджачник, что категорически отказался «сымать» безголовую Афродиту в Лувре, не взирая на ее красивые груди, был все-таки, по сути, культурнее ставящих в путеводителе птичку: видел такую-то статую. Пятого века. — И равнодушно проходящих дальше, чтобы навеки эту статую забыть.

— Не. У нее головы нет. Сымать не буду. Это, по крайней мере, свое, не навязанное механически. Непосредственное: значит, более культурно, чем:

«Евгений Онегин, как тип лишнего человека».

---

И опять возвращусь к моему пиджачнику: ну, не лучше ли отказать в правах на *цельное* искусство безголовой Афродите, чем талдычить вечно о том, что в искусстве для нас ценна только *деталь*, а на *целое* наплевать с высокого дерева? А ведь так, лишь с некоторым смягчением выражений, толкуют наши современники софистикейного и полуснобистского склада. Понимаю профессионалов-художников: они всегда пристально приглядывались —

как вставлен глазок у Веласкеза; понимаю профессионала-поэта, большого мастера —

он имеет право из всего Пастернака обратить внимание только на:

(Сейчас там ночь). За душный твой затылок. Но мы-то, мы-то все, те, кто подходит к искусству, к культуре, к *жизни* — не *технологически*, не с точки зрения того, «как сделана 'Шинель' Гоголя», — почему мы все утратили чувство, поддонное, присущее всякой живой душе чувство *целого*, стремление к *целостности* жизни, любви, веры, культуры, образа?!

Отчасти, психологически, исторически, это еще можно понять: век восемнадцатый и начало девятнадцатого, да, пожалуй, и середина прошлого века — были эпохой деспотического *монизма*: монизма философского, будь то догма материализма, спиритуализма, идеализма или критицизма: «нет Бога кроме Бога... — и

единой субстанцией всего и вся является ма-  
терия;

единой субстанцией всего и вся является  
дух;

во всем и вся единой миродержавной силой  
является идея;

все и вся дано лишь в моем акте *познания*». Мони́зма социально-политического с его верой во единого Бога: *прогресс и разум*, во имя коих и должно быть построено общество будущего. Мони́зма эстетического, приведшего к созданию новых эстетических единств: взамен прежним классическим «единству места, времени и действия» — *единству мотивации*:

чеховское ружье: если оно висит на стене в начале первого действия, то *должно* обязательно выстрелить в финале;

единству сюжета и единству основного героя: основной сюжет и основной «сквозной» герой обязаны быть тем вертелом, на который, как баранина, лук, помидоры и зеленый перец, нанизаны второстепенные персонажи, второстепенные сюжетные ситуации, описания природы и чувств, событий и природной или павильонной бутафории. Роман, как прежде *верховное искусство прозы*; поэма, как прежде *вершинное психообразование поэзии*; большое полотно маслом, обычно на исторический, мифологический или социально-жанровый сюжет, как *владычество* в живописи; пятиактная высокая трагедия и комедия с *центральной героиней*, —

все это, вместе с гегемонией философского монизма, диктаторской верой в прогресс и разум, с тиранией обязательного монизма *психологической мотивации*, ушло в небытие: остается действительным и действенным лишь в мертворожденных культурах тоталитарных государств, особенно коммунистических. Во всем остальном мире автор склонен, вслед за Мандельштамом, возглашать:

Уничтожайте рукопись, но сохраняйте то, что вы начертали сбоку от скуки, от неумения и как бы во сне. Эти второстепенные и мимовольные создания вашей фантазии не пропадут в мире, но тотчас же рассядутся за теньевые пюпитры, как третьи скрипки Мариинской оперы, и в благодарность своему творцу тут же заварят увертюру к Леноре или Эгмонту Бетховена.

Верно, верно стократно! Уже Достоевский начисто уничтожил всякую *рассудочность* и всякую *логику* рациональности в построении искусства, в мотивации поведения: никакой телеологии! Уже он уничтожил и *обязательные* единства!

Но ведь мы страстно хотим какой-то новой *увертюры* — к какому-то новому *единству*. Единству не тоталитарно-монистическому, единству *свободному* и отнюдь не рационалистическому, но — единству. Мы устали и от периода *дробности* и *распада*: и мы ждем новой *оперы* — вослед за чаемой нами увертюрой:

— Не, она без головы: сымать не буду.

На смену Богу высокого Средневековья пришла более деспотическая, чем религия Бога, — религия Разума и Науки: стремление все и вся свести к единой формуле. На смену все-таки целостной религии Разума и Науки пришла в наши дни эпоха анархического плюрализма и методоложества: мы уже боимся сказать о *вещах*, — мы говорим лишь о *методологии* подхода к ним; вместо *что* только как («какизм» — заместо *монизма* прошлых лет). Даже к любви, кажется, начинают подходить *методоложески*. Умер Великий Пан. Умерла — как двигатель и Идея культуры — религия Бога Живаго. Умерла и религия Разума и Науки. Мы живем в эпоху великого разброда мысли, раздробленности сознания, механизации души.

Нужна великая идея, Идея. Кое-что указывает на то, что прав был Н. Ф. Федоров: идея бессмертия и воскрешения отцов и пращуров наших перестает в наши дни казаться чистой фантастикой. Нужна какая-то новая *живая вера*. Показательны и те процессы, какие происходят, например, в католицизме наших дней. Придем ли мы к новой животворной для жизни и культуры, для жизни и искусства Великой Идее (— она психологически должна быть только религиозной, ибо любая иная — социально-политическая, социально-экономическая, монистически-философская — обязательно приводит к тоталитаризму в той или иной степени, да и слишком тоща, плоска и неплодоносяща для жизни и культуры), — трудно сказать. Но пока

нет *целостности* в нашем духе и в нашей душе,  
— мы будем только вздыхать о целостности в  
культуре, в искусстве. Будем мечтать хотя бы  
об увертюре. К чему? Дай Боже, чтобы хотя бы  
к *сочувствию Неба* к нашей богооставленности:

Нам не дано предугадать  
Как слово наше отзовется, —  
И нам сочувствие дается,  
Как нам дается благодать . . .

1969.



На пригорке белый дом  
в нем горбатая старуха,  
мухи дохнут за окном,  
бром и варезки их пуха.

Что бывало, то прошло,  
только «Господи помилуй!»  
позевотой в вечность шло  
вместе с кофточкой унылой.

Кашель, кошки, ревматизм,  
клизм колитных побируха . . .  
Муха хлипкий организм  
схизм щекочет лапкой духа.

Манной кашкой вызрел пыл,  
уплыло в компот страданье,  
кот ленивый заменил  
позабытые лобзанья.

Полуспят-полуживут  
без котят седые кошки,  
на окошке мухи трут  
ревматические ножки . . .

Выгнул спину жирный кот,  
мухи вверх задрали лапки,  
а горбунья крестит рот,  
в уши заложивши ватки . . .

1965.





## ВИЗИТ

Познакомился я с ним на концерте. Оркестр рыдал Патетическую симфонию Чайковского, дирижер выжимал предсмертные вздохи фаготов и контрабасов, а рядом со мной усиленно сморкался в платок и украдкой утирал слезу такой типичный русско-еврейский интеллигент средней руки, какого, пожалуй, не встретишь сейчас ни в Киеве, ни в Витебске, а только в Бронксе и Бруклине: — Я никогда не пропускаю нашего Чайковского . . .

Даже скривившиеся на носу и то и дело сползающие до отказа очки, даже почти потерявшие законопослушную складку и чуть волдырящиеся на коленях брюки напоминали далекое, родное, тепло-провинциальное, как южный пропыленный насквозь бульвар, как витрина часовщика, за которой копошится какими-то пинцетиками и буравчиками в настешь раскрытых карманных часах серьезный и приветливо-грустный хозяин с крошечным телескопиком в глазу. Григорий Борисович и оказался часовщиком: Пенсильвания Авеню, недалеко от Блэк Авеню, Бруклин: — Заходите и с часами, и просто так, земляк . . .

И вот сейчас, год спустя, я тщетно пытался уговорить милого Григория Борисовича отказаться от визита к врачу психоаналитику.

— Нет, что вы там ни говорите, а нужно испробовать все: мы с Фаней водили Мишу и к гипнотизеру, и к психоневрологу — ничего не помогло: он заикается по-прежнему. А парню уже семь . . . Вы удивляетесь? Я слишком стар для семилетнего сынишки? Ну, и что же? Ну, да, мне сейчас шестьдесят пять. Но у нас с Фаней все рождались девочки и девочки. Просто наводнение девочек. Конечно, и девочки — люди. Но все-таки. Какому отцу не хочется иметь сына? Даже Короленко, Владимир Галактионович, и тот, уже прославленный писатель, мечтал иметь сына, а рождались дочери. И Маркс, что там ни говори, великий человек, и тоже — только дочери . . . Другим, может, и смешно. Но нам-то так все время хотелось сына, да, сына, мальчишку. И почему ему заикаться? Никто его в младенчестве не пугал, кажется . . . Поведем его, все-таки.

И опять мы встретились на Патетической. Глаза бедного Григория Борисовича набрякли от слез, весь он был какой-то сникший.

— Вы были правы . . . Не стоило водить нашего Мишеньку . . . Но какой н-наглец, какой проходимец! И взял за визит пятьдесят долларов . . . Правда, говорил, не п-покладая рта . . .

— Кто?

— Вы не можете себе представить, вообразить не можете, что нам говорил этот подлец,

этот выродок — слов у меня нет, и рассказать даже стыдно, да вы и не поверите . . .

— Почему же? Хотите, я вам скажу, о чем вас с женой спрашивал психоаналитик: их графарет хорошо известен . . . Он спрашивал, очевидно, вашего Мишу — нет ли у него страстного желания убить отца, то есть вас, так как он дико боится, что вы его оскопите из ревности к матери . . .

Глаза Григория Борисовича буквально выпали из орбит и повисли на нитках. Очки свалились на сложенное на коленях пальто.

— Как? Как в-вы догадались? — заикаясь и трясясь всем телом спросил он.

— А у Фанни Яковлевны психоаналитик спросил, очевидно, о том, научала ли она сына любви на себе самой, чтобы предохранить его от пагубной приверженности к мастурба . . .

— Не надо!! — закричал Григорий Борисович. — Прошу вас, довольно! Но неужели это — наука, неужели к этому шло все наше развитие, для этого принимало муки человечество?! Неужели вы не присутствовали при нашем визите, ну, хотя бы в соседней комнате?! О, ч-чёрт . . .

— Вы заикаетесь? — вдруг заметил я.

— Да, Петр Васильевич, Мишенька заикается ппо-п-прежнему, но п-после в-визита заикаться стал и я, и р-руки д-дрожать стали, работать т-трудно, а Ф-фен-нечка з-заикаться не с-стала, но ин-ногда у нее п-припадки, к-как у к-кликуш: помните, у Д-достоевского?!

Антракт кончился. И как ни извивался дирижер, стараясь наиболее ярко воплотить страсть — теперь Паоло и Франчески, я был далеко от риминийской любовной трагедии: недалеко от меня сидел раздавленный наукой и сынолюбием человек, и его маленькая трагедия была сильнее истерических или декламационных переживаний «Франчески» Чайковского . . .

1964

## НЕКОТОРЫЕ МЕСТНЫЕ И ВОРОВСКИЕ СЛОВА

*Бидолага (бедолага)* — беданюха, бедняга, неудачник.

*Гаврик* — простак, но вместе с тем — хитрец; в данном случае просто человек.

*Гармидер* — в данном случае в смысле шумного скандала, склоки; не вполне правильное употребление слова.

*Грузо́* — грузин; неуважительное просторечивое название грузина.

*Завязать* — покончить с криминальной — воровской, разбойной — деятельностью.

*Катушка* — самый большой, предельный, срок заключения по советскому уголовному кодексу: раньше — 10 лет, ныне — 25.

*Кореш* — приятель.

*Курочить* — украсть, ограбить (главным образом — «раскурочить чей-нибудь сидор» — преимущественно продуктовую передачу или посылку заключенному издому).

*Нэпач* — нэпман, купец и промышленник — частный — эпохи НЭП'а — новой экономической политики.

*Огонек* — мелкий воришка.

*Пахан* — папаша, атаман, предводитель воровской шайки, крупный организатор ограбления — аристократия уголовного мира.

*Пересыльная* — пересыльная тюрьма, в которую переводят заключенного после суда над ним и где он ожидает этапа в лагерь НКВД-МВД.

*Сидор* — передача в тюрьму или посылка в лагерь заключенному «с воли», главным образом, продуктовая.

*Ширмач* — вор «средней квалификации» и пособник вора.

*Шпана, шпанка* — мелкое жулье.

## СОДЕРЖАНИЕ

Серый, седенький, дождит	6
<i>Сквозняки</i>	
На четвереньках шел трезвон	7
Идиллия	9
Мотив из «Баядерки»	14
Из рассказов т. Осадчука, персонального пенсионера	22
Сыновья	34
<i>Лимонарь псиный</i>	
Стада овец библейские седые	41
Сказание о псе праведном	43
Зал, огромный как Сахара	47
Сказание о псе милостивом	48
Сказание о простеце, его жене, калеке и псе верном	50
<i>Коридоры</i>	
В звенящем стекле осенних коридоров	63
Дружба рождается не как дитя	65
Яблоко	66
Эта древняя глина	68
Разговоры обо всем понемногу	70
На пригорке белый дом	87
Уходи душа, не прячься в слово	88
Визит	89
Некоторые местные и воровские слова	93





